

Владимир Смирнов

Вызревание будущего

Модель Нового Просвещения

Сесть за стол и самостоятельно выдумать жизнеспособное мировоззрение вряд ли кому удастся. Я, слава богу, и не пытался. Оно открылось мне на пути изучения истории мировой культуры. Наверное, я долго шел в удачно выбранном направлении...

Загадка триады

Каждому даже не особо прилежному школьнику известно, что в истории европейской культуры прослеживаются три основных этапа, три эпохи: языческая, представленная древним греко-римским миром; христианская, более известная нам под именем Средневековья, и эпоха Нового и Новейшего времени, географически захватившая еще и в Северную Америку, а хронологически охватившая и лично нас с вами.

По себе знаю, что в этом месте может возникнуть вопрос: а почему начало европейской культуры закреплено за древними греками? Цифрами мы пользуемся в основном арабского, даже древнеиндийского происхождения. Язык у каждого народа свой, как был, так и остается. Да и язычество у каждого свое. За что, с какой стати греко-римскому миру присвоена честь истоков европейской культуры?

Да, разумеется, и Эллада не на пустом месте родилась. Ее духовное содержание созревало благодаря многим влияниям, прямым и косвенным, отчасти известным, но чаще смутным и донным. Всякое явление, когда начинаешь докапываться до его истоков, оказывается уходящим в глубины, недоступные нашему роющему инструменту. Но факт то, что эллинская культура, переработав в себе всевозможные элементы влияний, встает перед нами из лазури Средиземноморья как совершенно самостоятельный одухотворенный организм, удивительно близкий даже и сегодняшнему европейскому сознанию. Дерево древней греко-римской культуры, проросшее сквозь тысячелетия, цветет и плодоносит до сих пор. Клятва Гиппократу, римское право, законы Архимеда, математика Эвклида — всё это не столько достояние истории, сколько живые действующие величины. Вся европейская философия училась в академии Платона и доныне пользуется понятийным аппаратом Аристотеля. В художественных школах наши дети овладевают рисунком, глядя на греко-римские образцы. Древнегреческие мифы, эпические полотна Гомера, подобно Библии, неподвластны времени, и на каждом новом этапе европейской истории являются

Смирнов Владимир Петрович — прозаик, публицист. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

источником вдохновения, тем оселком, по выражению Герцена, на котором человечество пробует силу своего возраста. А что касается языка, «хлеба культуры», то филологи хорошо знают, да и каждый интересующийся языком видит — сколько греко-римской муки замешено в славянских, немецких, английских хлебах, не говоря уже о романских. И уж коли «хлеб — всему голова», то и спорить о первородстве не приходится.

Там же, в Древней Греции, была установлена структура идеального мира. Подчеркиваю: не в Библии, не в христианстве она впервые раскрыта и названа, а именно мыслящие эллины впервые распознали в идеальном мире три равноценных, равновеликих царства: Истины, Добра и Красоты. И с тех пор зачатая теми же греками философия училась и до сих пор учится отделять истинное от ошибочного, прекрасное от безобразного, доброе от злого, то есть пытается до тонкостей, до самого доньшка определить существо истины, добра и красоты. Это основные, координатные проблемы религии и философии, составляющие душу европейской культуры: они подобно трехосной системе пространственных координат охватывают всю ее ойкумену. Каждое развитое философское построение, претендующее на полноту, не обойдет вниманием ни этику, ни эстетику, ни гносеологию, а они как раз и есть «добро», «красота» и «истина» (вернее, представления философа о них), прикрытые учеными мантиями. Три основные работы Иммануила Канта, например, так прямо и расположены по координатным осям культуры. «Критика чистого разума» посвящена нашим возможностям в деле прояснения истины, «Критика практического разума» трактует вопросы этики, а «Критика способности суждения» излагает учение о красоте и целесообразности. Русский философ Владимир Соловьёв мог бы стать еще более ярким иллюстратором координатной системы культуры, потому что после большой теоретической работы «Оправдание добра» готовил «Оправдание истины» и задумывал «Оправдание красоты». Он же работал над «Философскими началами цельного знания», где, пожалуй, впервые в мире сам смысл координации культуры стал главным объектом рассмотрения. Работа, к сожалению, не получила ни должной критики, ни должного продолжения. К сожалению, потому что если нам и откроется смысл человеческой истории, то не через историю войн или отдельных государств и династий, не через историю политики или права, и тем более не через материальную историю, а через историю чередования духовных культур, историю человеческих представлений об истине, добре и красоте. Чтобы познать человека, надо вызнать историю его души. И разве не то же самое нужно сделать, чтобы познать человечество?

Ну, а теперь вернемся к основному вопросу. Если взглянуть на историю европейской культуры в свете нашей триады, то мы увидим, что каждая из трех основных эпох в пору своего расцвета ярко своеобразна по отношению к истине, добру и красоте.

Для языческой Эллады ведущей культурной осью была Красота, гармония. Вся природа казалась эллину построенной по закону красоты. И верховной красотой виделся ему космос, который так и переводится с древнегреческого: «красота, порядок, гармония». Эту космическую гармонию греки стремились распространить и на государственное устройство, и на каждого гражданина Эллады. Отсюда всепроникающее развитие искусств: музыки, театра, скульптуры, риторики, поэзии. Отсюда культ прекрасного тела и непомерное значение Олимпиад, чье расписание стало даже основой летоисчисления.

Но дело не только и не столько в необычайном разливе искусств, сколько в том, что под власть красоты подпали и добро, и истина. Ими не пренебрегали, нет. *Прекрасные* поступки и *прекрасная* истина тоже входили в объем идеала, но понимались эстетически. Истину и добро искали на путях красоты.

Основная нравственная норма эллина — «ничего сверх меры» — есть по сути эстетическая, а не этическая норма. Она представляет добродетельную жизнь как искусство отыскания «золотой середины», которая, по утверждению Аристотеля, находится между двумя пороками: избытком и недостатком. Быть добродетельным — значит искусно лавировать между скупостью и мотовством, между безрассудной отвагой и трусостью, между распушенностью и бесчувственностью и т.д. Для определения должного поведения применяется принцип гармонизации двух противоположностей, принцип эстетический.

Столь же явственная печать «красоты» лежит и на языческой «истине». Понятие «эксперимент», введенное Аристотелем, хотя и означало наблюдение за вещами, за их свойствами в изменяющихся условиях, однако в древнем мире еще не было важнейшей основы для научного эксперимента. Мир еще представлялся древнему греку насковозь живым и цельным, а человек в нем — не более чем участником великого театрального действия. Язычнику греко-римской древности чуждо было понятие о человеке-естествоиспытателе. Эллин не чувствовал себя вправе испытывать, «пытать» природу. Любоваться, подглядывать — да. Но не расчленять для анализа. Органы чувств и воображение — вот те эстетические по своим возможностям инструменты, с которыми эллин прикинул к природе, познавал ее. Эта бедность инструментария вовсе не мешала древним быть внимательными наблюдателями и искусными мастерами. Мы до сих пор наслаждаемся видом древнегреческих статуй, портиков и амфор, пользуемся римскими дорогами и акведуками, но что касается умозрительных построений, скажем, облика Вселенной, то мы разве что улыбнемся прекрасному космосу пифагорейцев, где движение небесных тел представляется танцем светил вокруг мирового огня под музыку сфер.

Такая зацикленность языческой культуры на красоте, смещение всего многообразия духовного содержания человека и общества в сторону эстетической оси координат, позволяет нам (вслед за Алексеем Федоровичем Лосевым, крупнейшим исследователем греко-римской древности) определить ее характер как эстетический.

Но переместившись во времени на тысячу лет и оказавшись в культурном пространстве «темных веков», мы увидим, что тронного положения «красоты» нет и в помине. Трон не пустует, однако. Он занят «добром» — благодатью, благоговением и прочими производными от добра. Именно «добро», «благо» становится ведущей, притягивающей осью культуры. Именно добро, по христианским понятиям, приближает человека к Богу, способствует спасению души и правильному земному жизнеустройству.

Центром культурной жизни вместо театров, стадионов и бань, вместо языческих капищ, где среди немислимого многобожия Римской империи давно уже витало безразличие к божеству, становится христианская Церковь. Бренный человек идет туда на свидание со Спасителем, чтобы поклониться Ему, возблагодарить Его, вечного и сверхблагого, за дарованную жизнь, покаяться в допущенных грехах и очистить, возобновить свои силы для одоления земной юдоли в надежде на небесное воздаяние. В Средние века мы встречаем непредставимую ранее армаду паломников, годами пробирающихся в Палестину, в этот центр средневекового мира, чтобы побывать в точке возникновения абсолютного Добра, припасть к основным святыням христианства. В Средневековье мы видим огромную армию профессиональных служителей Блага: монашество, отшельничество, духовно-рыцарские ордена, не говоря уже о церковном клире — толкователях Божьей воли.

В обстановке воцарения принципа «добра» по-новому стали относиться к «истине» и «красоте». Конечно, их не отвергли, нет, их никогда не отвергали. Новый Завет — главная книга христианства — говорит о красоте, истине, любви не меньше чем о благе. Но суть в том, что все эти величины в средневековом представлении стали тяготеть к этической оси координат, к «добру». Угодной христианскому сердцу становится не вообще красота, а красота в качестве «благолепия», то есть соединенная с добром, действующая для добра под его руководством. Теперь считается, что красота обретает истинно высокое значение только на службе Богу. Талантливейшие художественные силы обращены к церкви, они религиозны. Искусство глубоко проникнуто христианскими мотивами.

Столь же служебное положение по отношению к «добру» обретает «истина». «Не тот мудр, кто много грамоте умеет; тот мудр, кто много добра творит», — гласят русские азбуки христианской эпохи. Считается, что человеческий разум слаб и греховен по сравнению с Божественным, а потому и не вправе ставить под сомнение Истину, раз и навсегда данную Священным Писанием. Считается, что людскому разуму доступна лишь борьба с заблуждениями на пути к Истине Божественного откровения, то есть рассудку Средневековья отводится роль пособника веры — подобно тому, как во времена просвещенного язычества он выступал в роли пособника чувств, своеобразного локатора, помогающего избегать крайностей и вырабатывать

разумное чувство меры. В средневековом же человеке не мера, а вера стала характернейшей чертой. Охваченность верой и волей к осуществлению «добра» — вот господствующая доблесть Средневековья.

Лучшие умы становятся комментаторами Священного Писания — родника Божественного блага. Естествоиспытательские дарования находят себе место в алхимии, но даже и на ней виден яркий отпечаток «добротолубия». Даже минералы, химические элементы, вовлеченные в химическую реакцию, делятся на «добрых» и «злых» в зависимости от их поведения в процессе соединения. Печать абсолютного «блага» поставлена и на исторических хрониках той поры: во главе любой из них помещены далекие евангельские события, призванные быть мерилем, своеобразной совестью дальнейшего повествования. А географические карты того времени, пренебрегая масштабами, помещают поближе к центру обязательную землю Господню, дабы она, будучи действительным центром христианского сердца, осеняла своим благим присутствием земли прочие, басурманские.

Этический масштаб жизни становится, таким образом, руководящим, преобладающим масштабом Средневековья, и эту эпоху поистине можно назвать эпохой «добра». Не из-за мягкости тогдашних нравов, разумеется. Средние века были едва ли добрее языческих. Но подобно тому, как эпоха развитого язычества была признана нами эстетической из-за вездесущности эстетической меры, так и развитая эпоха Средневековья из-за главенствования этической меры должна быть признана этической.

Но вот, перешагнув еще через тысячу лет, мы оказываемся уже в близком нам по духу Новом времени и вновь обнаруживаем смену культуuroобразующих ориентиров. Если христианский богослов Тертуллиан убежденно писал: «После Христа мы не нуждаемся в любознательности, после Евангелия мы не имеем нужды в исследованиях», то в устах человека Нового и Новейшего времени подобные фразы непредставимы. «Мысль — значит, существую», — вот кредо француза Декарта, идеолога и глашатая новой, рационалистической эпохи. «Знание — сила», — вторит ему англичанин Фрэнсис Бэкон, обоснователь эмпирического метода познания, идеолог эксперимента. По словам известного культуролога Юрия Каграманова, после бесплодного надрыва религиозных войн, надолго скомпрометировавших религию, лучшие умы ищут спасения в науке. От фанатических страстей уходят в мир чистых истин математики и механической физики. Здесь нет обмана, нет произвола; здесь истина одна для всех. И разум, открывший новые миры умопостигаемых и все же реальных объектов, не только находит в их прохладном воздухе временное успокоение своей тоски по абсолютному, но и приходит к убеждению, что абсолютный ключ к тайнам бытия уже находится в пределах видимости.

Весь мир и жизнь начинают мыслиться по образу математических величин и их материальных субстратов. Главной жизнестроительной осью становится «истина». Мир предстает перед человеком как объект, который можно и нужно разобрать на части, на элементы, и путем научного опыта изучить устройство природы, чтобы затем поставить ее на службу человеку. Общество XIX века уже до дна проникнуто уверенностью в конечной познаваемости мира: не сегодня, так завтра найдется инструмент, отыщется способ, и тайна обязательно падет перед пытливостью разума.

Именно таким отношением к миру был вызван европейский расцвет экспериментальной науки и связанный с ним напор технической мысли, приведший в свою очередь ко всё нарастающему промышленному подъему, к машинному прогрессу, который нынче в своем усовершенствованном электронном варианте победно шествует по планете, подводя общий знаменатель не только под европейское и американское сообщества, но и под своеобразнейшие культурные конгломераты Востока.

Соответственно меняется в Новое время и отношение к «красоте». Ее теперь рассматривают со стороны «истины», прикладывая к ней меру «истины», понятой как научный метод. С одной стороны, накапливается огромная масса искусствоведческой литературы, стремящейся «поверить гармонию алгеброй», рационализировать тайну творчества. Появляется специальная наука — эстетика, занимающаяся вычленением, определением «прекрасного». С другой стороны, множество экспериментов ставят

сами художники: поэты, живописцы, музыканты, скульпторы, режиссеры... В какой артистический цех ни загляни — всюду поиск, опыты, новации. Это боги Нового времени, вызванные к жизни исследовательской страстью рационализма.

Сходное положение мы видим и в области «добра». С одной стороны, появляется новая и новейшая этика как теоретическая дисциплина, подвергающая философскому, лингвистическому, логическому анализу этические понятия и высказывания мыслителей прошлого. С другой стороны, образуются всевозможные течения психологии: науки регистрирующей, объясняющей человеческое поведение, а теперь уже и влияющей на него через массовую популярную литературу и внушительную когорту психологов-практиков. «Добро» в Новое время перестает быть строго нормативным, перестает быть голосом божественного авторитета, обязывающего человека поступать так и не иначе. Оно становится наукообразной информацией о причинах и следствиях в психической жизни личности и коллектива. «Добро» теперь апеллирует к «истине», опираясь на знания, добытые рационалистическим методом, как и все прочие «легитимные» знания нашей эпохи, духовное состояние которой следует поэтому признать рационалистическим.

Итак, три слоя, три формы бытия европейской культуры: языческая, ярко окрашенная «красотой»; христианская, заикленная на «добре», и рационалистическая, замешанная (чуть не сказал «помешанная») на «истине». Какова природа такого чередования культур? Или, иначе говоря, есть ли смысл во всей этой истории?

Вопрос это *на и в а ж н е й ш и й*.

Отгадка триады

На основе всестороннего изучения древних мифов современные ученые составили портрет типичного мифологического сознания, которое хотя и менялось, развивалось по мере приближения к возникновению письменности, но не выходило из ниже очерченных пределов. Это свойственная раннему детству неспособность провести различие между естественным и сверхъестественным, глухота к противоречию, неразработанность абстрактных понятий, чувственно-конкретный характер мышления, метафоричность, эмоциональность. Австралийские, бразильские и прочие аборигены, жившие в отрыве от цивилизации, сохранили этот психологический облик вплоть до XX века.

Но положим руку на сердце: если бы мы с вами попытались составить психологический портрет дошкольника, нам пришлось бы привлечь те же самые или очень похожие характеристики. Эта схожесть детской психики с так называемой «дикарской» подмечена давно, о ней упоминают походя, как о чем-то само собой разумеющемся, но давайте все-таки уточним, откуда берется эта схожесть. Почему взрослый человек давнего доисторического прошлого или абориген недавнего не выходил из рамок младенческой психики? Ведь он был не глупее нас с вами. Случись у нас сейчас возможность взять на воспитание ребенка из неолита — только совсем маленького ребенка, не старше двух лет, пока у него еще не сформировались высшие психические функции, — он ничуть не отстал бы от своих школьных и университетских сверстников.

Подобный эксперимент был проведен в позапрошлом веке. Французский этнограф Ж. Виллар привез в Париж найденную им в джунглях двухлетнюю девочку из парагвайского племени гуакили, ведущего крайне примитивный образ жизни. Ученый поселил найденыша в семье своей матери, где девочка получила воспитание и через двадцать лет стала крупным этнографом, владеющим тремя языками. Европейское воспитание отсекло маленькую индейку от неолитического существования, и она буквально перелетела из мифологического каменного века в рационалистический девятнадцатый.

Но в том-то и дело, что ни тридцать, ни двадцать тысяч лет тому назад этнографы по земле не бродили. Эпоха была каменной всюду и для всех: для детей и для взрослых. Ребенок мезолита или неолита обрекался на «каменновековое» воспитание, то есть на

консервацию своего чувственно-образного отношения к миру. Мифы и связанные с ними обряды были альфой и омегой духовной пищи. Их соответственно и почитали: в мифе видели не сказку, не выдумку, а самую высокую реальность. В мифе рисовался образ прародителей племени, из мифа слышался их наставительный повелительный голос, передаваемый из поколения в поколение. Этим голосом нельзя было пренебречь — забыть или ослушаться, — иначе, по представлениям доисторических людей, племя распадется и погибнет, словно человек, потерявший душу. В формах мифа и ритуала выступала коллективная душа племени, и первобытный ребенок сызмала впитывал в себя это племенное мироощущение, рос в нем, набирался бытовых, трудовых навыков, и вот уже проходил через обряд совершеннолетия, и воспитывал уже своих детей, но при внешней взрослости оставался ребенком по типу духовной культуры, сохранял в себе «архетип младенца», по терминологии Юнга, то есть такое состояние сознания, когда мышление и воля еще не выделены, не освоены человеком как что-то, лично ему принадлежащее. Доисторический человек даже и в умудренной старости своей не мог утверждать, что он думает сам, своим интеллектуальным усилием. Он считал, что «в нем думается», что мысли приходят к нему извне, и воля в нем возникает помимо его собственной воли. При таком состоянии психики мир воображения, мифический мир предков оказывается для человека значимее реального мира: душа самоуправна и может отрицать очевидную действительность ради своего равновесия.

Сходное состояние психики мы можем наблюдать и в наших маленьких детях, пока они еще очарованы миром сказок, пока не окунулись с головой в холодную купель рационализма. В детях же каменного века ничто и никто не разрушал первоначальных мифологических представлений. Наоборот, они наслаивались друг на друга, надстраивались и в конце концов увенчивались культовыми и космогоническими мифами, составляющими священное сокровище племени. И в этой, надо сказать, довольно уютной и прочной колыбели протекала вся психическая жизнь человека каменного века от рождения до смерти. Он не имел права, да и желания выбраться из племенного мифа подобно тому, как наш трех-пятилетний малыш не волен, да и не желает выходить из-под опеки любящих и любимых родителей. Куда ему идти? Он и в восемь, и в десять никуда не захочет уйти, если его не вытолкнет порченная семейная обстановка.

Но мы намеренно ограничим возраст ребенка, сопоставимый с первобытным психическим состоянием человеческого рода, четырьмя, пятью годами. Это именно доисторический период жизни: как индивида, так и рода, когда и тот, и другой еще не умеют ни читать, ни писать; когда ни тот, ни другой еще не могут связно рассказать историю своей жизни; когда и тому, и другому в качестве регулятора поведения еще достаточно родительского табу. Ведь не станем же мы объяснять младенцу, почему нельзя высовываться из окна: он все равно еще не понимает, что такое «убиться насмерть». Не высовывайся и всё, иначе будешь наказан. Такой же запретительной мерой было и повсеместно распространенное в первобытном обществе табу священных и проклятых предметов. Их следовало избегать, потому что они табу. Не прикасайся, и всё. Иначе — кара.

Кстати говоря, прочитав «Золотую ветвь» Д. Фрэзера, я впервые узнал, насколько сильно влияли табу на людей, которые в них по-настоящему верили.

«Одному мальчику-туземцу было в качестве табу запрещено есть бананы и прикасаться к сосудам, в которых они находились. Однажды его товарищи сообщили ему, что он ел рыбу из черепка, в котором находились остатки бананов. И что же? Спустя несколько часов мальчик умер в тяжких мучениях».

Конечно, общество такого типа было крайне консервативным, оно всеми силами старалось сохранить завещанный предками порядок вещей, и жизненный уклад не менялся, почти не менялся целыми тысячелетиями. Но все-таки человек есть существо рискованное, искательное, да и мир ведет себя творчески, испытующе по отношению к человеку: парадоксальным образом даже само человеческое стремление сохранить существующий порядок приводит к зыбкости и опрокидыванию этого порядка. Ведь люди, к примеру, не собирались сводить мамонтов с лица земли — они, наоборот, старались сберечь свой традиционный охотничий образ жизни, а оказались

перед необходимостью искать новый объект питания. И т.д., и т.п. Земля круглая, она лишь кажется беспределной, и наша недалновидная прямолинейность поведения в конечном счете всегда приводит к появлению новой реальности, требующей небывалого подхода для приспособления к жизни, то есть нашего изменения, изменения нашей духовной культуры.

Надо думать, в такой парадоксальной форме и развивалось первобытное общество на пути к просвещенному язычеству, европейский расцвет которого мы видим в облике древней Эллады. Это тоже детство («прекрасное детство человечества», как вслед за Гегелем выразился Карл Маркс, добавив, что древние греки были нормальными детьми, как будто другие древние были ненормальные), но уже его послемладенческая пора. Впервые в истории европейское человечество открывает для себя школу (как понятие и как учреждение). Мифы еще почитаются и заучиваются, занимая порядочную часть сознания, но уже не имеют прежней безраздельной священной силы: уже Гомер относится к мифам эстетически, как к предмету любования. Мы вступили в эпоху «красоты», в мир подавляющей эстетики. Иначе и быть не могло, потому что, овладев письмом, обнаружив способность к философии, древние греки хотя бы и самого выдающегося ума всё еще оставались укорененными в обостренной чувствительности и чувственности «природного человека» — в древнейшей способности, унаследованной эллинами непосредственно от своих первобытных предков. А что доступнее всего зрению, слуху, чувствительности вообще? Истина? Добро? Да нет же. Конечно, красота, потому что она действует непосредственно на чувства. Красота тела, ландшафтов, звуков, величественная красота звездного неба зачаровывают язычника. Его сознание, руководимое чувствами, ищет в красоте решение не только эстетических задач, но и этических, и задач познания.

Какая школа была учреждена в классической Элладе? Преобладали физические упражнения и так называемые мусические дисциплины. Кроме школы грамматиста, где учили чтению, письму и счету, все мальчики посещали школу педотриба (гимнастическую) и столь же обязательную школу кифариста, где заучивали литературу (мифы, героические сказания), пели, декламировали, играли на музыкальных инструментах. Обязательным было и посещение городских торжеств, праздников и спортивных состязаний.

Что давала подобная школа? По разумению древних, она давала гармоническое всестороннее образование, а на самом-то деле отдавала предпочтение воспитанию тела и чувств, то есть воспроизводила генеральный древнегреческий менталитет.

Но перешагивая в Средневековье и уже понимая, что это шаг взросления культуры человечества, спросим себя: а насколько широк этот шаг? Приводит ли он к взрослости? Ведет, надо полагать, но еще не приводит, не может привести. Не может ребенок, едва прошедший начальную школу, на следующем шагу получить аттестат зрелости.

Прислушаемся к свидетельствам голландского историка и философа Йохана Хейзинги, признанного специалиста по ментальности Средневековья.

«Когда мир был на пять веков моложе, все жизненные происшествия облекались в формы, очерченные куда более резко, чем в наше время. Страдание и радость, злосчастье и удача различались гораздо более ощутимо; человеческие переживания сохраняли ту степень полноты и непосредственности, с которой и поныне воспринимает горе и радость душа ребенка. Всякое действие, всякий поступок следовал разработанному и выразительному ритуалу, возвышаясь до прочного и неизменного стиля жизни... Состояния и сословия, звания и профессии различались одеждой. Знатные господа передвигались, не иначе как блистая великолепием оружия и нарядов, всем на страх и на зависть. Влюбленные носили цвета своей дамы, члены братства — свою эмблему, сторонники влиятельной персоны — соответствующие знаки и отличия... Чувство справедливости всё еще на три четверти оставалось языческим. Там, где мы нерешительно отмериваем смягченные наказания, лишь наполовину признавая вину подсудимого, средневековое правосудие знает только две крайности: полную меру жестокого наказания — и милосердие.

Словно исполин с детской головой, народ бросается от удушающих адских страхов — к младенческим радостям; от дикой жестокости — к слезливому умилению.

Жизнь его полна крайностей: безусловное отречение от всех мирских радостей — и безумная тяга к наживе и наслаждениям; мрачная ненависть — и смещливость и добродушие».

Не правда ли, с картины, нарисованной Хёйзингой, смотрит на нас психическая физиономия подростка. Легко узнаваемы ее основные черты: неуравновешенность, обостренное чувство справедливости, понимаемой примитивно, желание покрасоваться, выделиться принадлежностью к какой-нибудь привилегированной группе, приверженность обетам и клятвам, всегдашняя готовность «выяснить отношения», «стыкнуться» по малейшему поводу, а то и без повода, лишь бы лишний раз увериться в своих правах и силах, утвердиться, возвыситься в глазах сверстников и в своих собственных. Всё это — повседневное мироощущение наших пяти-шестиклассников, их настоящая текущая жизнь, которая без труда подчас затмевает и перевешивает официальную школьную (обыкновенно рутинную) и семейную долю их жизни. В средневековом же обществе (по крайней мере, в его классической фазе) и взрослая жизнь протекала в рамках подросткового менталитета. Все эти рыцарские и рыцарско-монашеские ордена, благородные, обыкновенно бескровные сшибки во имя прекрасной дамы; судебные поединки, которые, конечно же, искомой истины не выясняли, ибо побеждал не обязательно самый правый, а скорее самый сильный и ловкий; все эти крестовые походы ради освобождения символов и наказания «неверных» хотя и совершались на полном серьезе, но, по сути, были взрослыми вариантами подростковых разборок, борьбой за справедливость как ее тогда понимали. Результат нередко был далек от подлинной справедливости, но сама идея справедливости обычно торжествовала, за нее ложились костями, потому что она считалась безусловным добром, а «добро» было непререкаемым принципом и ценностью средневекового существования.

Согласно с ним были устроены и школы — родники общества. Школа теперь, как правило, располагалась под сводами церкви или за стенами монастыря и воспитывала не иначе как в духе христианской религии. Молитвы, церковное пение, счет, латинская грамота (единственная грамота богослужения) — вот и все школьное просвещение Средневековья. Детям дворян, правда, давали повышенное образование, где имели место так называемые «семь свободных искусств» (отголосок античности), но и они приобрели богословскую закваску. Школа открыто объявляла себя «служанкой богословия», «питомником послушания». Типичный человек Средневековья смиренно считал себя работником Господа, вечным отроком Господним. Слово «отрок» по древнерусски так и значило: «слуга, работник». «Жить — Богу служить», — гласила заглавная пословица наших православных предков...

Переступая далее из «подростковой» эры Средневековья в Европу Нового и Новейшего времени, мы уже можем заранее предположить, с каким возрастом человеческой психики соотносится общество XVIII и XIX веков, мировидение «энциклопедистов», эпоха Просвещения и Романтизма, победное движение паровых машин и двигателей внутреннего сгорания. Вне сомнения, мы встречаем раннюю самоуверенную юность — возраст честолюбивых помыслов и стремлений, время утверждения своей личности, индивидуальности, возраст бросков самовыражения, попыток объяснить необъяснимое, объять необъятное. Эта эпоха еще не совсем завершилась, мы сами во многом ее порождение, и нам нелегко пока согласиться, что наше ощущение всеильности научно-технического потенциала сродни эйфории молодого человека, вызванной буйным ростом юношеского организма. Однако это та же самая переключка между взрослением индивидуума и рода человеческого. Как отдельная личность чувствует свое могущество под напором юных сил, так и род людской при виде успехов молодой экспансивной науки и техники чувствует свою всепобеждающую мощь и заявляет о ней теорией бесконечного прогресса.

Под влиянием новой идеологии, сориентированной на «истину», снова категорически изменилась школа. Под влиянием энциклопедистов, деятелей Просвещения ее отделяют от церкви, потому что для идеологов рационалистической эпохи богом становится Наука, а у нее своя молебеня — лаборатория. Под гармоническим всесторонним образованием, в соответствии с эпохой, теперь понимают образование энциклопедическое. Такая педагогическая установка быстро превратила

школу в подобие лектория, где воспитание — как этическое, так и эстетическое — сводится к едва слышной малости, отдается на откуп родителям, а учительство уже в самых младших классах обращается не к чувству ребенка, а сразу к рассудку, хотя этот овощ в первокласснике, едва вышедшем из младенчества, еще зелен, неупотребим. Школа этого типа неплохо решала вмененные ей задачи, пока в придачу к школе работало не совсем еще разрушенное домашнее воспитание, пока в самой школе преподавали люди, истово верящие в силу науки, а советские педагоги верили вдобавок и в построение коммунизма. Но бурями XX века веру эту развеяло. В нынешней школе по решающему преимуществу работают усталые узкие «предметники» и практически исчезает «Учитель с большой буквы», как мы его теперь ностальгически называем, который был для ребенка примером, учил не только математике или языку, но и самой жизни. А без такого Учителя ребенок неизбежно теряет сердечный интерес к школе и, если не бросает ее, то доучивается ради аттестата.

На рубеже третьего тысячелетия мировоззренческий кризис ощущается и на Западе, и на Востоке (там, впрочем, он проявляется по-другому). Сама эпоха рационалистически понятой «истины» оказалась в глубоком кризисе, начавшемся уже давно, в конце XIX века. Постепенно обанкротилась научная вера или суеверие, которое ждало от науки ответа на все проклятые вопросы жизни. Оказалось, что чем дальше развивается наука, тем более она удаляется от той «истины», которая нужна человеку. В решении пограничных, метафизических вопросов ученые безнадежно расходятся друг с другом. Ученый, как и последний невежда, беспомощно останавливается перед засушными вечными вопросами: в чем смысл жизни? Как жить? Что добро и что зло? Учреждают какой-нибудь очередной «Институт человека» с целью собрать воедино знания о человеческой сущности — и тут же разбегаются по разным лабораториям. Даже философия, «душа культуры», растеклась по частным интересам.

Член Французской Академии Жан Дютур в книге «Огни Просвещения погасли» пишет, что нынче культурная элита проваливается в массу, как в трясины. И что человечество в целом не только не стало зрелым, о чем мечтали просветители XVIII века, но, скорее, впадает в детство: «Нынешнее человечество, впервые за время своего существования, интересуется только телом, удобствами, благополучием, мощью или скоростью материальных предметов. Инфантильное человечество начала III тысячелетия демонстрирует недостатки и пороки, свойственные детям: легковерие, аморальность, малодушие, невежественность, склонность к насилию, дух стадности».

И Жан Дютур далеко не одинок в своих наблюдениях. Сейчас все чаще слышишь, что обыватель, «разочаровавшийся» в христианстве, а чаще всего просто мало что о нем знающий, «заново околдован». Он не верит больше в Христа, но готов поверить во что угодно. Если он еще ценит «духовность» (слово, которое теперь предпочитают «религиозности»), то ищет ее на рынке, соблазняющем богатством выбора. Свойственно это и российскому рынку так называемой духовности. Здесь можно найти набор старых языческих божеств, многочисленные руководства по различным восточным и архаическим верам. Подлинным же хозяином положения на рынке является оккультизм, то есть всякого рода эзотерика, псевдонаучные и паранормальные верования.

Пора сделать некоторые выводы. Думаю, и вы теперь согласитесь с тем, что переключка между психическим взрослением ребенка и чередованием основных форм духовной культуры западноевропейского человеческого общества свидетельствует о *естественности* исторического процесса. Подобно тому как юность не может наступить ранее отрочества, а оно не может осуществиться прежде младенчества и раннего детства, так и эпохе рационалистической «истины» не дано опередить эпохи религиозного «добра» и языческой «красоты». Человек и человечество, конечно, величины не одного порядка, но порядок для их взросления — один. Мы видим перед собой культурное взросление, медленное, изобилующее драмами и трагедиями, самовоспитание западноевропейского человечества.

В разное время и в самых далеких друг от друга источниках находил я подтверждение своим мыслям.

В грандиозной гегелевской картине саморазвития абсолютного духа зафиксирован

тот же порядок становления культуры: от искусства — через религию — к науке. То есть, выражаясь символически, от Красоты — через Добро — к Истине.

В «Дневнике» Льва Николаевича Толстого — запись от 24 июля 1889 года: «В древности у греков был один идеал красоты. Христианство же, выставив идею добра, сдвинуло этот идеал и сделало из него условие добра. Истина? Я чувствую, что в сопоставлении, замене одного из этих идеалов другим вся история эстетики, но как это? Не могу обдумать».

Эта толстовская запись, помню, подхлестнула меня и поднаправила в поисках: в чтении, в раздумьях. И оказалось, что в смене идеалов красоты, добра и истины заключена не только история эстетики, но и человеческой культуры вообще: как западной, так и восточной. Достаточно прочитать хотя бы несколько статей выдающегося востоковеда Николая Иосифовича Конрада, чтобы убедиться: древнейшие восточные культурные общества прошли тот же путь: от просвещенного язычества к догматичному Средневековью и далее, через Ренессанс, к утверждению индивидуалистических ценностей рационализма.

Разумеется, Восток — не Запад: китайский или индийский менталитет коренным образом отличается от европейского. Духовная культура Востока более консервативна. Она всегда старалась сохранить себя неизменной, и сами ее изменения обычно происходили в форме «возвращения к истокам», под флагом восстановления древней мудрости в первозданной чистоте. Но на каждом витке «возвращения» древняя мудрость прочитывалась по-новому, в соответствии с культурным возрастом читающих. Вычленились и акцентировались те элементы восточной мудрости, которые оказывались наиболее близки «возвращенцам», и старая песня в новой инструментовке получала смысловые оттенки, требуемые возросшей культурой. При всем своеобразии Востока, при всем разнообразии внутри Востока порядок взросления духовной культуры и там равнялся западному, хотя и не равнялся на него. В ряде случаев Восток даже оказывался впереди Запада. Явления, подобные итальянскому Возрождению XIV—XV веков, в Китае обозначились уже в VIII веке, а в IX появились в Средней Азии, Иране и Северо-Западной Индии, так что «нормальность детей» восточного типа должна быть вне подозрений.

Конечно, у каждого народа, даже и внутри одной культурной общности, свой характер: каждый народ чувствует и думает по-своему, и развивается не вровень, не одновременно с другими. Есть народы, чье язычество не успевало достичь философствующего самосознания; таковы и наши славянские народы, не знавшие письменно осмысленного языческого многобожия. Но само-то язычество, само раннее детство духовной культуры как всеобъемлющее влияние чувственности было у всех народов, в этом можно не сомневаться. И преобладающее влияние мировых религий, то есть отрочество культуры, тоже без преувеличения объяло весь земной шар. И рационализм, в свою очередь, стал теперь более или менее всеобщим достоянием, нависнув над людьми такими проблемами, перед пугающим лицом которых человечество — не только европейское, а и мировое — впервые в своей жизни начинает осознавать себя единым существом, уязвимым и даже смертным. Запад и Восток, Юг и Север — все языки, все народы вынуждены будут отныне прислушиваться не только к заветам своих языческих предков и позднейшим религиозным постулатам, но и к сегодняшним реалиям глобального звучания, ставшим поистине гласом Божиим, призывающим к новой жизни, к новому общечеловеческому мировоззрению, основанному не на различии, а на сходстве судеб; не на страхе и ненависти, а на понимании, эмпатии и любви...

Мне представляется следующий путь развития жизни и человека. Приблизительный, конечно, но сквозной, непрерывный.

Жизнь на Земле — явление не случайное, а отсюда, надо думать, и не единичное во Вселенной. Становясь планетой (как именно — судить не берусь, да это и неважно для наших рассуждений) и попадая в условия, близкие к земным, то есть благоприятные для биологической жизни, космическая материя начинает или, вернее, продолжает эволюционировать в сторону возникновения этой жизни, потому что материя (от латинского «матер», мать) не мертва изначально и всегда готова к эволюции. Здесь нам следует согласиться с Тейяром де Шарденом, а еще раньше с принципом Реди: «живое

не может родиться от неживого». Биологическая жизнь не есть что-то аномальное. Она — результат естественного движения от простого к сложному: от элементарных частиц к гармоническому ряду тел, «следующих по нотам атомной гаммы», и далее от простых ко все более сложным молекулам, к аминокислотам, углеводам и макромолекулам, чье взаимодействие приводит к образованию простейших клеточных форм жизни, а там и к проявлению сознания, и к появлению человека. Причем сознание тоже не аномалия природы: оно довольно поздно обнаруживается на шкале эволюции, но это не значит, что его не было и нет на ранних стадиях процесса. Сознание участвует в эволюции всегда. Пусть в распыленном, разжиженном, «предсознательном» состоянии, но оно присутствует в любой космической частице, сколь бы элементарной она ни была. Это универсальное правило: «какой-либо феномен, точно установленный в одном месте, в силу фундаментального единства мира необходимо имеет повсеместные корни и всеобщее значение». Сознание эволюционирует вместе с материей. Усложнение неорганических, а затем органических и биологических форм идет рука об руку с усложнением психическим. Они взаимозависимы, это две ипостаси одного и того же явления — жизни, в какой бы форме она ни существовала. «Материалисты» были правы, сознание действительно определяется бытием, но «идеалисты» были правы не менее, потому что и бытие в свою очередь определяется сознанием. Вопрос о верховенстве, о первородстве бессмыслен уже из-за того, что бытие и сознание неразлучны на любом срезе универсума. И не могут существовать друг без друга.

С появлением *Homo sapiens* характер эволюции существенно меняется. Она становится историей «человека разумного», историей человеческой культуры во всем ее объеме. Развитие сознания продолжается, но уже не путем усложнения биологических форм жизни, а путем взаимоотношений между человеческим сознанием и бытием, то есть всем тем, что доступно сознанию, что вовлечено в его сферу. Эмбриональная фаза эволюции, таким образом, переходит сначала в фазу младенчества, выраженную родовым первобытно-общинным строем жизни и мифологическим синкретическим сознанием, еще не осознающим себя, не думающим о себе. А затем, на примере наиболее близкого нам по духу европейского, уже думающего, рассуждающего о себе сознания, мы видим три ярко обозначенные стадии дальнейшей эволюции. Они соответствуют трем основным способностям человеческого сознания: чувствовать, верить и рассуждать.

На стадии языческого «детства» развитие сознания в его взаимоотношениях с бытием еще диктуется чувством, чувствами. На стадии христианского «отрочества» сознанием руководит вера (уже не чувства, но еще и не рассудок). А мыслящий рассудок возымел руководящую силу на стадии рационалистической «юности».

На заре третьего тысячелетия от Рождества Христова история духовной культуры дает нам понять: все три односторонних упования — сначала на «красоту», потом на «добро» и, наконец, на «истину» — упования, обусловленные взрослением сознания, естественны были именно для возрастания, самовоспитания человеческого общества. И все они поодиночке исчерпали свой руководящий потенциал единоличных вождей человечества. Сегодня мы находимся в ситуации крушения очередного — и, заметим, последнего члена триады в качестве ведущей оси системы координат в качестве всеобъемлющего идеала культуры. Не случайно на разных академических перекрестках Запада заговорили о необходимости Второго Просвещения, которое придадо бы европейской цивилизации новый импульс — подобно тому, как это сделало классическое Просвещение в XVIII веке. Правда, сколько-нибудь значимо определенной сути искомого Просвещения с названных перекрестков пока не просматривается. А ведь сама история, сама логика культурного взросления подвела нас к решению вопроса. Она дает нам понять, что догматизированный идеал, понятый по-детски прямолинейно и безраздельно, начиная осуществляться, вскоре обнаруживает свою недостаточность, а потом и вовсе оборачивается своей ужасной противоположностью.

Так, красота древнегреческого Зрелища обернулась кровавыми расправами над людьми в римском аплодирующем Колизее.

Так и христианское «добро» всепрощения обернулось беспощадными

религиозными войнами и кострами инквизиции, зажженными конечно же ради «добра», ради спасения душ заблудших.

Современный поэт Владимир Микушевич подвел под всей этой историей афористическую черту:

Истина без добра и красоты — ложь.

Добро без истины и красоты — зло.

Красота без истины и добра — безобразие.

Практический вывод из вышесказанного таков: для гармонического развития жизни нужен гармонически развитый человек.

Это не сегодняшний вывод. К гармонии люди стремились всегда, восхищались ею, встречая в окружающем мире, и в любую эпоху пытались гармонично, всесторонне воспитать человека. Но понимали гармонию в соответствии с возрастом культуры. Язычники, как мы уже заметили, строили гармоническую личность под водительством «красоты», христиане всецело доверились «добру», а рационалисты — «истине». И каждая из осей в конце концов не выдерживала руководящей тяжести, приводила людей к необходимости категорически менять ориентацию культуры, опираться на новую координатную ось.

Свободных осей больше нет. Но, видит бог, это и к лучшему. Наши метания с оси на ось прекращаются. Детство культуры, как и положено законом взросления, завершается юностью. Заканчивается путь ощупывания координатных осей, освоение приосевых районов. Дальше предстоит осваивать основное межосевое пространство взрослости, воспитывать гармонически развитую личность, опираясь уже не на одну ось, и даже не на две, как это было испробовано на исходе Средневековья, когда европейское человечество ощутило недостаточность односторонней ориентации на религиозное «добро» и попыталось слить его с языческой «красотой», соединить этический и эстетический подходы к миру, обобщить христианские и древние греко-римские богатства. Тогда эта попытка, могущая, конечно, осуществиться только в интеллигентных научно-художественных кругах, дала, тем не менее, множественные, порою великолепные плоды, названные впоследствии Возрождением. Но в XV—XVI веках еще оставалась неосвоенной ось «истины», направление рационализма, и поэтому самих деятелей Возрождения засасывающе влекло на третий путь, ради которого они, как незабвенный Джордано Бруно, могли взойти и на костер.

Теперь положение иное. На закате эпохи безудержного рационализма, наблюдая разрушительную недостаточность его рассудочной «истины», мы понимаем, должны понять необходимость сведения воедино уже всех трех исторически обусловленных упований, всю триаду, причем на совершенно равноправных условиях. Сама история, сама логика культурного взросления подвела нас к новому пониманию гармоничности человеческого развития.

Нынешний Ренессанс, новое Просвещение видится как равноценное воспитание в ребенке, а отсюда и в обществе, всех трех его духовных способностей: эстетических, этических и рационально-познавательных.

История культуры подсказывает нам и порядок, и даже некоторым образом содержание Второго Просвещения. Эстетическим по преимуществу должно стать начальное образование, этическая доминанта обязательна в «подростковых» классах, а рационалистическая отводится старшеклассникам.

Что значит для личности такая гармонизация?

Вспомним слова чеховского доктора Астрова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Ведь из этого идеала светит все та же древнегреческая триада. Внешность составляет «красоту», «прекрасная душа» как сочувствующий и нравственно-волевой центр определенно относится к «добру», а «прекрасные мысли» тяготеют к «истине». Он умный, добрый и красивый, скажут нам про такого человека, и мы готовы авансом симпатизировать ему, несмотря на отсутствие подробностей. Такой человек определенно заслуживает нашей любви.

Простота вывода, помню, в первый момент ошеломила меня. Истина, Добро и Красота, слитые воедино, образуют Любовь. Осуществленная в человеке триада

становится любовью. И дело не столько в том, что гармонически развитый человек притягивает к себе благоволение, становится объектом любовного отношения окружающих. Это меньшая часть результата. В конце концов, для меня не столь уж важно — влюблен ли в меня мир. Для счастья несравнимо важнее самому испытывать влюбленность, быть субъектом любви.

Альбер Камю, лауреат Нобелевской премии по литературе, однажды заметил: «Не быть любимым — это всего лишь неудача; не любить — вот несчастье». А Конфуций еще задолго до Камю высказался так: «Счастье — это когда тебя понимают; большое счастье — это когда тебя любят; настоящее счастье — это когда любишь ты».

И действительно, любовь к миру придает неисчерпаемый смысл нашему существованию. Вот уж она-то по-настоящему судьбоносна, поскольку и вправду пронесит нашу частную судьбу, нашу душу неповрежденной через все превратности жизни. И, видит Бог, объемное трехмерное воспитание тем и прекрасно, тем и незаменимо, что, делая человека привлекательным для других, одновременно возвращает любовь в нем самом. Эстетически развивающийся человек проникает в красоту мира, начинает видеть и слышать его символику: звуковую, цветовую, ландшафтную, перекликающуюся с многоуровневой символикой живописи, архитектуры, музыки, поэзии — безмерной сокровищницы, создаваемой тысячелетиями. Развивающийся ум восхищается, не может не восхититься удивительной сложностью, взаимосвязанностью и взаимообусловленностью жизни, но непременно будет и озабочен ее ранимостью, хрупкостью, зависимостью от человека. Вот это набухание смыслов, восхищение, любование и прозрение наряду с растущей озабоченностью, с этической направленностью и выращивают в человеческой душе неуывающий, всё разрастающийся сад, который я не могу назвать иначе как любовью. Красота, добро и истина в форме эстетического, этического и познавательного взросления личности, соединившись, слившись в ней, становятся любовью — первым, важнейшим основанием и содержанием человеческого счастья.

Подзабытый нынче Антон Семенович Макаренко совершенно справедливо отметил: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». Человеком ведь не столько рождаются, сколько становятся. Воспитывая в ребенке стремление к истине, добру и красоте, мы, если перейти на язык христианства, закладываем в детей божественное начало, организуем человека как подобие Божие. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Так сказал апостол Иоанн в своем послании, и это сказано навсегда. Бог живет в любящем, а не в возлюбленном.

А почему Бог есть любовь? — спросим мы себя теперь, после того, что я тут наговорил. Да как раз потому, что в нем слились все три идеальных царства: Истина, Добро и Красота, имеющие общее идеальное основание.

История культуры созрела для взрослости человечества, вплотную подвела людей к вратам взрослости. И если мы сумеем их открыть и войти туда — человечество не только спасется, но и преуспеет. А будем медлить — ворота вполне могут и заржаветь. Ведь как устроена жизнь? Мы ждем, когда к нам придет хорошее, желаемое будущее, а оно ждет, когда же придем к нему мы.